# Моя душа (стихотворения в прозе)

***Нет, я не хочу внушать вам
сострадания. Пусть лучше буду я
вам даже отвратителен. Может
быть, и себя вы хоть на миг тогда
оцените по достоинству.

Я спал, но мне было душно, потому что солнце уже пекло меня через штемпелеванную занавеску моей каюты. Я спал, но я уже чувствовал, как нестерпимо горячи становятся красные волосики плюшевого ворса на этом мучительно неизбежном пароходном диване. Я спал, и не спал. Я видел во сне собственную душу.
Свежее голубое утро уже кончилось, и взамен быстро накалялся белый полдень. Я узнал свою душу в старом персе. Это был носильщик.
Голый по пояс и по пояс шафранно-бронзовый, он тащил какой-то мягкий и страшный, удушливый своей громадностью тюк — вату, что ли, — тащил его сначала по неровным камням ската, потом по гибким мосткам, а внизу бессильно плескалась мутно-желтая и тошнотно-теплая Волга, и там плавали жирные радужные пятна мазута, точно расплющенные мыльные пузыри. На лбу носильщика возле самой веревки, его перетянувшей, налилась сизая жила, с которой сочился пот, и больно глядеть было, как на правой руке старика, еще сильной, но дрожащей от натуги, синея, напружился мускул, где уже прорезывались с мучением кристаллы соляных отложений.
Он был еще строен, этот шафранно-золотистый перс, еще картинно красив, но уже весь и навсегда не свой. Он был весь во власти вот этого самого масляно-чадного солнца, и угарной трубы, и раскаленного парапета, весь во власти этой грязно-парной Волги, весь во власти у моего плюшевого дивана, и даже у моего размаянного тела, которое никак не могло, сцепленное грезой, расстаться с его жарким ворсом…
Я не совсем проснулся и заснул снова. Туча набежала, что ли? Мне хотелось плакать… И опять снилось мне то единственное, чем я живу, чем я хочу быть бессмертен и что так боюсь при этом увидеть по-настоящему свободным.
Я видел во сне свою душу. Теперь она странствовала, а вокруг нее была толпа грязная и грубая. Ее толкали — мою душу. Это была теперь пожилая девушка, обесчещенная и беременная; на ее отечном лице странно выделялись желтые пятна усов, и среди своих пахнущих рыбой и ворванью случайных друзей девушка нескладно и высокомерно несла свой пухлый живот.
И опять-таки вся она — была не своя. Только кроме власти пьяных матросов и голода, над ней была еще одна странная власть. Ею владел тот еще не существующий человек, который фатально рос в ней с каждым ее неуклюжим шагом, с каждым биением ее тяжело дышавшего сердца.
Я проснулся, обливаясь потом. Горело не только медно-котельное солнце, но, казалось, вокруг прело и пригорало все, на что с вожделением посмотрит из-за своей кастрюли эта сальная кухарка. Моя душа была уже здесь, со мной, робкая и покладливая, и я додумывал свои сны.
Носильщик-перс… О нет же, нет… Глядите: завидно горделиво он растянулся на припеке и жует что-то, огурцы или арбузы, что-то сочное, жует, а сам скалит зубы синему призраку холеры, который уже давно высматривает его из-за горы тюков с облипшими их клочьями серой ваты.
Глядите: и та беременная, она улыбается, ну право же, она кокетничает с тем самым матросом, который не дальше как сегодня ночью исполосовал кулачищем ее бумажно-белую спину.
Нет, символы, вы еще слишком ярки для моей тусклой подруги. Вот она, моя старая, моя чужая, моя складная душа. Видите вы этот пустой парусиновый мешок, который вы двадцать раз толкнете ногой, пробираясь по палубе на нос парохода мимо жаркой дверцы с звучной надписью «граманжа».
Она отдыхает теперь, эта душа, и набирается впечатлений: она называет это созерцать, когда вы ее топчете. Погодите, придет росистая ночь, в небе будут гореть яркие июльские звезды. Придет и человек — может быть, это будет носильщик, может быть, просто вор; пришелец напихает ее всяким добром, — и она, этот мешок, раздуется, она покорно сформируется по тому скарбу, который должны потащить в ее недрах на скользкую от росы гору вплоть до молчаливого черного обоза… А там с зарею заскрипят возы, и долго, долго душа будет в дороге, и будет она грезить, а грезя, покорно колотиться по грязным рытвинам никогда не просыхающего чернозема…
Один, два таких пути, и мешок отслужил. Да и довольно… В самом деле — кому и с какой стати служил он?
Просил ли он, что ли, о том, чтобы беременная мать, спешно откусывая нитки, сметывала его грубые узлы и чтобы вы потом его топтали, набивали тряпьем да колотили по черным ухабам?
Во всяком случае, отслужит же и он, и попадет наконец на двузубую вилку тряпичника. Вот теперь бы в люк!
Наверное, небытие это и есть именно люк. Нет, погодите еще… Мешок попадет в бездонный фабричный чан, и из него, пожалуй, сделают почтовую бумагу… Отставляя мизинец с темным сапфиром, вы напишете на мне записку своему любовнику… О проклятие!
Мою судьбу трогательно опишут в назидательной книжке ценою в три копейки серебра. Опишут судьбу бедного отслужившего людям мешка из податливой парусины.
А ведь этот мешок был душою поэта — и вся вина этой души заключалась только в том, что кто-то и где-то осудил ее жить чужими жизнями, жить всяким дрязгом и скарбом, которым воровски напихивала его жизнь, жить и даже не замечать при этом, что ее в то же самое время изнашивает собственная, уже ни с кем не делимая мука.***